ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 3–4

ВСТРЕЧНЫЙ

РАССКАЗ — Г. КОРЫТКО

Всю ночь с океана дул ветер. Перед рассветом над сопками повисли облака. За окнами необычно широко весело шумели сосны.

— Такой ветер только с Тихого,—говорили машинист Олинцев. Он стоял на высоком крыльце, подставляя горячую голову океанскому ветру. Легкий снежок летел из серой пустоты. Олинцев ловил снежинки. Они быстро таяли на его большой, теплой ладони. Мокрую руку прикладывал Олинцев к пылающему лбу. Теплые снежинки пахли свежестью моря.

— А ветер-то с Тихого, чорт,—вновь повторил недовольно машинист, отмахиваясь от снежинок.

Сзади скрипуча дверь.

— Василий Анаревич!—позвал Олинцева усталый голос.

Помощник машиниста Лебедь неуверенно вышел на крыльцо.

Широкий и сильный порыв ветра налетел и толкнул Лебедя. Пошатнувшись, он ухватился за перила.

— Море-окиян вознуется... — покорно сказал Лебедь, тяжело опустив голову.

— Да... Машинист обнял друга. И нечто с него бурд... А нам, дружок, на машине ехать супротив ветра... Понял, Лебедок?

— Не люблю я ее, машину! Не нравится она мне,—крепко держась за перила, говорил помощник,—работаю на ней, окаянной, четвертый год... Шумит, гогочет... Усе уши прошпила, ведьма...

Широко открыв глаза в сизую муть утра, Лебедь нечтал.

— Как вот пойду слесарем в депу... будет тогда мое полное удовольствие... Лебедь пьяно чмокнул губами.—А то что?.. И он с досадой сплюнул.—Трясет и жар от ее огромный... ни тебе покою, ни тебе водопитного состояния...

— Ты ударник?—тихо спросил Олинцев.

Доставая папиросу, Лебедь ответил заплетающимся языком:

— Не-е хо-чу.

Осыпая пепел с папиросы, Лебедь говорил:

— Брошу я машину!.. И в депе работать не буду... А пойду в деревню... Бить, из деревни я!.. Кулаю коня, вот... Земли нам отрежут, мы... и все протчее...

— В деревне—кос-хоз...—тихо напомнил Олинцев.

Помощник поднял белые, колючие брови и зрестно сдул с ширинсы золотые искры. Свежий ветер вызывал хмель из головы. Далеко, за сотни верст, на востоке осыпались в океан розовые льдинки предрассветных звезд.

— Я шинкадцать лет на паровозе,—горло сказал Олинцев,—каждый сустав пальцами перещупаешь, маслом перемазал. Идет, идет она,—а я знаю уже, что болит у ней, на что жалуется! А не люблю я ее... Не живая она! Вот, думаю, не брошу угля, и стоять ей век. С места не двинуться!

— Верно—сказал Лебедь важно.

Звонко щелкнула калитка.

Всматриваясь в густое месиво рассветного тумана, Олинцев сошел на нижнюю ступеньку.

Из-за угла дома брызнул свет сигнального фонаря.

— Механик Олинцев здесь?

— Я,—недовольно и важно ответил машинист.

— На паровоз заказывали. Собирайтесь в поездку. А Лебедя случайно не видели?

— Скажу и Лебедю...

— Вы скажите, не забудьте... Скоро пассажирский... Под него ваша машина пойдет...

Олинцев быстро взбежал на крыльцо.

— Собирайся, Лебедок, едем. Ты—ничего?.. Выхуло?..

Понрежнему дул с океана напористый ветер. Земля покрылась тонкой свежекистранной простыней снега. Облака летели стаями, как птицы осенью.

* * *

Кочегар Ленька важно ходил около большого пассажирского паровоза. Пакля, намотанная на палке и пропитанная густым мазутом, горела длинным розовым пламенем.

Машина стояла в воротах депо, широкой грудью выходя наружу.

Вторая бригада быстро приняла машину. Олинцев почти не осматривал паровоз. Вало поднялся в свою будку. Лебедь был уже там. Наклонившись к уху машиниста, он шептал:

— Чую, беда будет. Шея я из-за про мывочного, только хотел через путь перейти, а дрезина ка-ак жыыкнет—так меня назад и отмахнуло! Перешла дорогу... к беде. не иначе...

Олинцев слушал помощника, и под его полуседыми усами играла нечто обида, нечто насмешка.

* * *

Паровоз медленно двигался в туманных огнях стрелок. Стрелочники, сцепщики осаждали паровозы, расцвечивая их сигнальными фонарями. Машины двигались как странные звери, у которых вместо глаз десятки застекленных зрачков.

Тендер быстро заполнился углем. Залили водою. Олинцев вывел паровоз на пути, ведущие к станции.

На контрольном пути у выходного семафора Олинцев остановил машину. Ленька быстро соскочил на землю и побежал в депо.

— Нарядчика видел?—на бегу обратился он к пожилому рабочему, катившему паровозный скат.

— Не видел.

Ленька бежал дальше.

— Где нарядчик?. Нарядчик здесь?—спрашивал он у встречных. Обежав депо, Ленька опять встретил человека, возвышегося со скатом.

— Нарядчика не ты спрятал?—со злостью спросил он.

Человек поднял голову.

— Второй раз наскочил,—смутился Ленька и предложил: может, нам помочь, папаша? А то очень тяжело одному... с нуля сорвете...

Но рабочий молча посмотрел на парня и надел на скат.

Ленька бросился бежать, пружинисто перепрыгивая через рельсы.

Нарядчик разговаривал с дежурным по депо, когда Ленька подошел к ним.

— Вот что,—сказал он, сдвигая брови.

— Машину опять привел небрежно... не осматривал. На паровоз явился, а сюда уж заложил,—Ленька щелкнул себя по горлу.

— А тебе завидно?—спросил нарядчик.

— У нас за Олиневым ничего не замечено,—строго сказал дежурный.

— А я заметил!—воскликнул Ленька.

— Коли заметил—спимем... Ты, что ли, на его место станешь?..

— Не дури,—спокойно взглянул на него кочегар.

— Ты ударник... Вот мы тебе и дадим паровоз, — поддержал нарядчика дежурный,—сперва пополазишь на кукушке... Далеко она не ходит, а ты—парень сильный, где подсобишь ей, где она тебя и так увезет! Вместе-то вам будет весело...

Ленька недовольно почесал раскрытую грудь.

— Сам ты кукушка,—с горечью сказал он.—Хоть ты и дежурный, а глуп как гайка! Разве можно так относиться?! Туг, понимаешь, с делом приходит, а он пустяками развлекается.

В начале восьмого пришел поезд.

Олинцев недовольно смотрел, как новый паровоз, блестя краской, шел в депо. И фонари, похожие на луну, ощупывали рельсы.

Подбежав осмотрщик с длинным молотком и молодо, по военному крикнул:

— Механик! Двенадцать вагонов, девять тормозов! В хвосте товарный, в Северяне прицепили!

И добавил:

— Букса говорят у него!...

— Пусть горит, мое дело ехать,—ало сказал Олинцев.—„И зачем они пеняют столько? Как и декаботу присобачивают!—подумать он и, рассердившись, добавил вслух:

— Сволочи...

Принимая путевку от главного кондуктора, Олинцев увидел толстого человека, Олинцев вынул часы. Было без двадцати трех минут восемь часов.

— Поехали—крикнул кондуктор, поднимаясь на ноги, чтобы отдать машинисту путевку. Выглянувшись из окошка, Олинцев вырвал путевку из рук главного и, не глядя, положил в шапку.

На кондукторский свисток отвечно взревел паровоз.

Олинцев стал перед машиной. Натянув на руку хлопковую перчатку, он перетянул реверс на передний ход и открыл регулятор. Пар взорвался в цилиндрах и плавно толкнул паровоз. Олинцев постепенно давил на ручку регулятора, стрелка манометра поползла кверху.

Машинист выглянул в окно.

Мимо плыли громадные окна депо.

Прошально светился зеленый семафор, похожий на большую пышную звезду в в хрустальные инверсионные ночи. Теперь паровоз мягко шел среди паутины рельс, чудесно выбирая себе путь.

Олинцев прислушался к ходу паровоза. Прекрасно смазанные части двигались безвучно, пар упругто протекал в цилиндры. Старый машинист понял, что машина работает отлично.

* * *

За сопками, за океаном всходило пухлое воспаленное солнце.

Ленька стоял на тендере. Встречный ветер неистово трепал его пропитанную мазутом рубашку, сорвал старую кепку. Ленька искренно удивился, когда его кепка, как планер, пропрыла по воздуху и, повиснув на цепной лапе кедра, стала нервно дергаться. Ветер перепутал белые, курчавые волосы на голове Леньки. Ветер дул с океана.

Когда кочегар спустился в будку машиниста, Олинцев также спокойно курил трубку на своем месте, помощник сидел у левого окна.

Лебедя тошнило от недавнего похмелья.

Поезд безумно мчался, набирая скорость. Паровоз качался, взбрасывая на стыках,—эта нервная качка раздражала Лебедя. Он старался удержать тяжелую больную голову в равновесии. Ленька подбросил уголь в топку, посмотрел на водомерное стекло: воды в котле вехвостало. Попробовал—инжектор работал хорошо.

Ленька сжал губы, осмотрелся.

У Олинцева был недовольный, сердитый вид; он непрерывно курил трубку и пустыми глазами глядел в окно.

Привычно он вел поезд. Рука механическим управляла машиной. Ветер взвинчивал Ленькины нервы. Хотелось упрямо бороться с ним. Не зная, куда деть скопившуюся стусток энергии, Ленька большим ключом пакли начал до блеска отирать рукоятки. Он отступал на шаг и любовался сизым сиянием отполированного железа.

Лебедь, качаясь, перешел на правую сторону, открыл дверь и, усевшись на порогу, поставил непокорные ноги на ступеньку.

Ленька взглянул в левое окно. Поезд с грохотом мчался по высокой насыпи наравне в верхушками сопок. Далеко внизу уходили столбы телеграфа, растягивались строки каких-то тайги, уламная в стекольную муть туманов.

Высоко над тайгой летел самолет. Обгоняя поезд, он круто забирал вправо, на океан, давая сильный крен и плетаясь поблескивая крыльями.

Олинцев, тоже высунувшись в окно, смотрел вперед. Путь плавно закруглялся в его сторону, огибая скалистый срез сопки. И вдруг сквозь вагар на лице машиниста пробилась нелепая бледность испуга.

Впереди, на девственном белом снегу, черными бесформенными пятнами громоздились камни. Они угрюмой, угловатой гридовой нертво лежали на пути.

— Путь сторчен... обвал,—гаухо крикнул Олинцев. И трубка звонко ударилась о тепловую плиту пола.

Ленька быстро отвернулся.

В леденящем ужасе окостенело лицо Олинцева. Казалось, смерть вместе в ветром несется навстречу. Круто повернувшись, он бросился к силящему в дверях Лебедю.

— Прыгай,—бешено скомандовал он.

Лицо Лебедя было бледно, как снег.

— Прыгай,—яростно крикнул Олинцев и толкнул Лебедя.

Маленькое тело помощника оторвалось от поручней паровоза и покатилось по спуску насыпи, ломая кусты, подпрыгивая и перелетая по воздуху.

Олинцев бросился следом.

Пассажиры, стоявшие у окон, видели, как два человека странно катились по отвоу.

— Очевидно, профессионалы,—обратился к жене толстый, розовый пассажир, более всего боявшийся поездных воров.

Ленька прыжком подскочил к правому окну и, вытянувшись, глянул вперед. Поезд бешено мчался в сторону океана. Черные пятна на белом снегу быстро росли.

Кочегар рывком закрыл регулятор. Пар умер в цилиндрах. Паровоз шел под закрытым паром. Остервенело учепившись за рычаг тормоза, закусив губу Ленька глядел в окно. Ветер рычал в колесах. Рвал волосы на голове кочегара, словно хотел вместе с Ленькой остановить разбесившуюся громаду. И когда паровоз послушно замедлял бег, понял Ленька, что кровью связал себя с машиной.

Паровоз дрогнул и остановился. Под колесами хрустнули камни.

Пассажиры шумно высыпали из вагонов. И когда увидели засыпанные камнями рельсы, стало жутко. Растрепанного Леньку стащили с паровоза и заставили рассказать обо всем.

Толстый, краснощекий пассажир стоял в стороне и испуганной женой и обжегшая ей что-то, показывая на засыпанный путь.

— Видишь ли, моя дорогая,—под конец сказал он,—еще одна минута, только минута, и мы с тобой сейчас бы уже не говорили...

Ленька стоял без шапки, окруженный толпою пассажиров. Кто то восторженно воскликнул:

— Молодец!... И тихо добавил,—молодчага парень!

Ленька почти ничего не слышал. В ушах его звенел ветер. Из губы сочилась кровь.

* * *

Олинцев наломал пушистых ветвей кедрача, разостлал их на земле и вместе с Лебедем они долго лежали не двигаясь.

Вверху надрывно шумел океанский ветер, а внизу, у стволов деревьев было задумчиво, тихо и грустно.

Потом машинист и Лебедь посмотрели друг другу в глаза и поняли, что нужно итти. Поднявшись, они обнялись и пошли навстречу ветру.

Не сговариваясь, далеко обошли то место, где теперь поверное уже лежал под откосом разбитый поезд.

К вечеру, все еще поддерживая друг друга, неуверенной хлябкой походкой вошли они в комнату начальника политотдела. За столом сидел человек в сущенном красноармейском шлеме и торопливо писал.

Остановясь посредине комнаты и покачиваясь, машинист Олинцев сказал дрожаще:

— Это мы соскочили...

Человек в шлеме дописал до точки и медленно поднял голову.

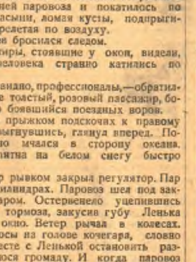
Двое стояли перед ним, два ослабевших измятых человечка. И Олинцеву вдруг стало страшно. Также, как недавно на паровозе.

Человек в шлеме внимчиво смотрел на них. За окном двигались и шумели паровозы. Сигнальные огни семафоров тревожно блестели на фиолетовом осеннем горизоте.

С океана дул ветер.

ЖАЖДА

Еще неуверенно вьется маршрут
Горами и степью на карте.
Но в этих местах непременно пройдут
Пути изыскательских партий.
Геолог, как ветер
Певуч и угрюм,
Сидел в раскаленных
песках Кара-Кум.
И знал он: от жажды в песках
умереть,
Терпеть поражение—или:
Нащупать в породах зажатую медь
И вскрыть эти медные жилы.



Воды нехватало.
Помало виски.
Как солнце палило,
Желтели пески.
А ночи роняли на дикий простор
Осыпанный звездами полог.
И жмурясь, и глядя всю ночь на
костер,
Сидел у палаток геолог.
Уснули рабочие,
Стынет песок,
Начали забыться
Геолог не мог.
Сильнее, чем жажда, жарче пена
Его неудача томила:
Так где же проклятую жилу искать,
Что к сердцу песков уходила?
Костры догорели.
В бурной ночи
Глухонемая
Пустыня молчит.
Геолог сердился и мать склонял...
Когда же на пятой неделе
Нагретые штаны, устало зевня,
Сердечные вены надели.
Он, трубку кусая,
Сказал тоску
И с песней покинул
Пески Кара-Кум.
И жадная жажда лежала на планшете.
Ее не потрешь, как улыбку с лица.
Пусть жажда томила и жег его
ветер,
Ночами мороз до костей пронцал—
Певуч, как ветер
Певуч и угрюм,
На золото ценит
Пески Кара-Кум!

Вл. Чугунов.

ТРЕВОГА

(Отрывок из поэмы)

Сверкнул лучом
на чистое небо.
Рассеиванном до чертиков ударом
Граната-солнце
катануло в лес
И запыхала дымчатыми пожарами.
Под синевой затих вечерний бой.
Проходил тряской назоро винтовку.
Измученные солнцем в борьбой
Бойцы расплавились на ночевку.
Был воздух душен
к вносел, как газ,
Растянутый с дороги
на дорогу.
Комбат почтил примчавшийся приказ
И бросил вестовому —
— дать тревогу!
... пламенный зной
взорван трубой,
бой,
бой,
бой,
бой!
от ташки и ложки
до самой кружки
все с собой!
и строй:
— строй.
В спешке —
не мешкай.
Боец — по пешка
Первый — сюда,
второй — сюда.
Ну-ка, в разбережку
паренек-ка,
парежь-ка
Все ли на месте?
Да?
Да!
Р-равнение по р-рядам!
... в струну —
— струна...
Смир-р-но!
...тишина...
Комбат тряхнул головой лихой
В кровавом огне пожарища
Взглянул на тучи, взглянул на строй
И рубанул:
«Товарищи!
Каждый из нас
Не кисель, не квас.
Хоть и сугубо бойцы
подчас.
Только сейчас
Получил приказ
Выступить через час!
Чтобы врага разгромить
на ять.
Надо врага заманать
вконец
А для того —
мы десятков пять
В ночь должны прощаться!
Сделать задачу —
большая честь
Знаем мы с честью
должны донесть.
Выступить в восемь,
прибыть в шесть.
Есть?
...тишина..
Есть!

Геннадий Поспелов.

С КАЗАКОВ

ПЕСНЯ КАЗАЧКА

Кондр. Урманову.

Рыжие лисы свой пух уронили,
В позднюю осень вплетая уют.
Рыжие лисы свой пух уронили,
Комсомольцы Омар и Аблай не идут...
Рыжие луны суляют высоко—
Берутам так высоко летать...
Рыжие луны суляют высоко,
Но комсомольцев им не видать...
Рыжая осень несла изобилье—
Тысячи тонн золотого зерна.
Рыжая осень несла изобилье,
Нам пропадает что она...
Бел и высок стоит элеватор,
В рыжую осень вплетая уют...
Бел и высок стоит элеватор,
Аблай и Омар зерно стерегут...

ЮР. ГРОМОВ

ТАЕЖНАЯ ТЕНЬ

(ПОЭМА)

От костра по полянке—блики.
Ленты пламени завиваны вверх...
Ветер бархатный, ветер безликий
На опушки дремучу нависнет.
И, прижавшись фатой туманы,
Отступила назад река...
Сплуат под'емного крана —
Онемевшая в замаке рука.
У бортов отдыхающий драги.
Струйки тихи, сонно блестят...
Задремали на ночь фонари.
На опушках зажглися костры.
Днем с рассвета гуул неуемен
В шуме, говоре, грохоте драг.
А теперь затихает шум, гомон.
И плывет от пролесков мрак.
Медит в небо ночное подвешен.
Как до блеска стертый брелок...
Уловатые руки размешивают
Закипающий котелок.
Разговоры идут о плане,
Про лихой трудовой размах.
О гульбе и веселых пьянок.
О том, как живет семья.
И по лбам — квадраты и ромбы
От дрожащих огней костра...
На добытом золоте — пломбы,
И в палатках — храп до утра.
По тайге совы крыльями мапут.
Раздраженно ухают сыч...
Ароматов всякиенней каши
До полудня ты будешь сыт.
От последних сосен опушки
Отдаляется чья-то тень
И неслышно, как по подушке.
Пробирается в темноте.
Вынув дда — приходится сетка
(Чтоб не мелки таежный гнус...)
Это — белок валящий с ветки
Из «кремлевки» дробью тунгус.
«Ну, старик, подходи, отдедай!
Нашей каше. И как дела?
Поздравлять ли тебя с победой.
Иль добыча на рук ушла?»
Собравлись морщинки в улыбку.
Выпрямились клочки бровей.
И тунгус приседает табко
Чтобы в трубку достать угуей...
Льется жаю в разостегнутый ворот
И по швам оленьей дохи.
Стаинка угощает город
Табаком, словно мох, сухим.
И о том что он — неболтлив,
Говорила у костра тунгус.
Что он шел по следам сохатых.
Номеняя лыжи тайгу,
Что он шел по золе пожарищ.
Перепрыгивал бурелом.
И назвали его — «Товарищ»
Где-то люди с большим стеклом.
И от них до свежему следу
Он пошел, подгоняя жапот...
И елу, никогда не еденную,
Переженывал шалый рот.
Разомлев от еды и жара.
Он сидел... (Оседал костер.
Но свои огненные жала
Неспабеоцо в ночь простер).
И, себя не чувствуя лишним,
Длиннорогый чубуч грыжа,
Людям сытно его накормившим,
Решил с былом рассказать.
Память слабая все не схватит—
Отвлек дней потусненних смолк...
Табунами бродил сохатый
И жировал на охоте волк.
Голубики лиловые бусы
Рассыпались в траве поляк.
И, закрашиейся в дым узусов,
Был багульника запах лиин.
Из земли, в бурелиме преломм,
Бубнив горсеь весною опаяет,
Исиокон родовым уделом
Кочевали шаман и князь.
Проходили тропой олени.
На боках качали детей.
Пойнся по тайге селезьи
Из пружинных своих костей.
Там, где берег рекой опаяет,
Для юртана втыхалась жердь.
В котелки над костнами мясо
Подносила медвежья смерть.
И однажды вечерним временем
В реку, бегом размяв кусты.
От поплавки и зной вспаленные
Окунули оленя рты.
И когда от огней костровых
Побежал по берегу треск
С помрачнившим речных вахорай
Принесло загуленный всплеск...
Обгоняя гостеприимный сумрак.
Под порошений тонкий отвод
В белый берег вонялся шумно
Забубнивший челночный нос.
И от набок оседшей лодки.
Замочив сапоги водой.
Зацаться в походке четкой
Человек с большой бокалой.
Взглядом колкие, как из иголок,
Он бросался, на все сердясь.
И отхлынул олений полог
У палатки, где скрылся князь.
До пасевета они говорили...
Над кустами густеет туман...
Полбрыв духу, как крылья.
К ним за полночь пришел шаман.
А наутро золе становья
Не прошлось побелеть в песке:
К переносице слинтуя брони.
Всех пришелец погнал в реке.
Сухожилья на жесткой плетке.
При удаче весела нуг
И путало рукоя коротко.
Просолотившее восемь пуль.
Выбивали в камнях ложбинки.
Просевали речной песок.
Добывали блестки—крупинки
И сыпали ему в мешок.
И работа была, неповятна
Страсть
Жолтовальне тусклые пятна
У камней неустанно красть.
Но не раз, окончив кампанье,
В глубь приятков запоятав обман.
Вновь, с утра в работе старанье
Проявлял удалый шаман.
И держа над покорным родом
Много лет повелучую власть,
Проявлял без конца незгоды
На легенды упрямый князь...
Пробиралися гуаны осенний,
Напоивая ладуг на юге
Цельный чай огневой воды.
Через камни юртанов выюги
Не заглоит обратно дым.
Он сказал, что прощедшим летом
Людям с юга песок отдал.
И всю зиму он спал потрепый
Щедрениым теплом одеял.
Он сказал, что дают крупинки
Сладость мяса и зверя баб,
И за них, не страшась дубинки.
Предлагает услуги раб.
Он сказал что мешок тяжелый
Князь, шаман, и он сам—их друг.
Обогнав и бутан и холод,
Отнесут в города на юг...
Он сказал и вновь опрокинул
Князю в чашку свою бутыль...
Разогнув озябшую спину,
Потрасенный старик застыл...
И когда заря заалострела,
Загудел раз'яренный стан,
Полетыи камни и стрелы
В чужака просторный юртан.
Жизнь стрела не сразу очертит,
Но старик чужаку стремглав
Оперенное пенье смерти
Самострелом отправил в глаз.
Рядом с ним, шаманом убитым,
Как-то в ночь, когда все храпели,
Как змея, он к нему подполз.
Из щелей теплота сочилась.
Истекая от камелька.
Непогода в юртан просилась.
Заставляя тени мелькать.
Князь, шаман и пришелец черный
Говорили. Как тонкий кнут.
Шопот ползал, от стен упорно
Отражаясь обратно шутуть.
Говор был то жаней, то гневен.
Но, рукой бесесту подняв,
Он сумел разговор подслушать.
Зажимая в дугтой кинжал.
Говорил чужеземец князю.
Что на юг далеко итти.
А на юге, пространство связывая,
Из железа легли пути
Напоивая ладуг на юге
Цельный чай огневой воды.
Через камни юртанов выюги
Не заглоит обратно дым.
Людям с юга песок отдал.
И всю зиму он спал потрепый
Щедрениым теплом одеял.
Он сказал, что дают крупинки
Сладость мяса и зверя баб,
И за них, не страшась дубинки.
Предлагает услуги раб.
Он сказал что мешок тяжелый
Князь, шаман, и он сам—их друг.
Обогнав и бутан и холод,
Отнесут в города на юг...
Он сказал и вновь опрокинул
Князю в чашку свою бутыль...
Разогнув озябшую спину,
Потрасенный старик застыл...
И когда заря заалострела,
Загудел раз'яренный стан,
Полетыи камни и стрелы
В чужака просторный юртан.
Жизнь стрела не сразу очертит,
Но старик чужаку стремглав
Оперенное пенье смерти
Самострелом отправил в глаз.
Рядом с ним, шаманом убитым,
За насилья и за обман
С черепами, копьем пробитыми
Повалились князь и шаман.
И потом старика—охотника
Стаканиною назначили вод..
Забрадыли оленья ботала.
Собирая на переход.
В реку бросив мешок с крупинками.
Погрузив на оленей кладь.
По тайге знакомой тропинкой
Вереница людей текла...
И старик замолчал и сплюнул
И, задумавшись крепко, стих...
В небе свет расходился лунный.
Осыпаясь на кроны пихт.
И спросил старик у сидящих.
Как спросил бы у друга друг.
Правда ль то, что совсем настоящими
Чудесами заполнен юг!
И сказали, что это—правда.
Через реки, пургу и снег
Голоса бросают по «радио»
В расстояния многих дней;
И олень из железа окованный.
По мерцам блестящим скользя.
Теплым паром окутав голову.
Оставляет пустой «вокзал».
На течение, как карп, упорно
Сам плывет железный челнок.
Но, с железным оленем споря.
Он оленя б догнать на смог.
И спросил их старик—зачем они
Добывают крупинки здесь?
И зачем они белому племени:
Пули лить или даже есть?
Отвечали они с улыбкой.
Что, мол, трудно ему понять—
Этой желтой сухой песчинкой
Будет суглен последний князь.
И, песок промывая чище.
Из кавьеров его треби,
Получают они и пищу
И постель от самих себя.
И, кивнув головой сочувственно,
Замолчал старик опять...
Под луна, надо тайгою нависшей,
У костра собравшиеся спать.

А. Сафронов — Изобретатель

Из рассказа „Патент № 30103"

Телеграмма пришла из Москвы. Была она подписана наркомом, тем самым, который совсем недавно приезжал на завод. Степан Васильевич ко всякому начальству относился равнодушно и от всех требовал уважения к себе. На наркома Степан Васильевич обиделся тогда за невнимание. Он было готовился вести его по цеху и рассказать ему обстоятельно о точности и значении порядка в жизни, а нарком, мельком заглянув на него, что то спросил у директора и прошел дальше.

Когда телеграмму перечитывал, думал: стоит ли ехать? Потом, поразмыслив, решил, что нарком едва ли по пустякам беспокоить стал бы.

Кроме того—значит, помнил и знал. Это тоже что-то значило. Но гордость свою Степан Васильевич выдержал. В Москву собрался не спеша. Привык к наркому и вся гордость в миг посдала. Не успел Степан Васильевич через порог наркомовского кабинета переступить, как услышал:

— Садись, Степан Васильевич. О точных делах потолкуем...

От того, что помнил нарком имя и отчество, совсем расстала гордость. Поручил наркому Степану Васильевичу любое дело—за все бы взялся, все бы сделал.

Нарком про все расспросил,—и про завод и про квартиру. Коровой поинтересовался—сколько дает и не стельная ли. Закинулся также про обсерваторию и про друга академика. Даже похвалил старика. Не забыл также похвалить и самодельный штангенциркуль Степана Васильевича. Только заметил при этом, что на новом заводе, где подшипники делают, с этим штангенциркулем делать ничего. Измеряют там американскими инструментами, да такими, что в микроскоп смотреть приходится.

Степан Васильевич микроскопом не удивился, однако, на диковинные станки и инструменты точнейшие взглянуть согласился. Самолично доставил нарком Степана Васильевича на завод. Привел его в зал, где стояли станки под стеклянными колпаками, и об'яснил, что наблюдение за ними поручается ему, Степану Васильевичу, а между прочим должен он также на этих станках молодежь к точности приучить.

* * *

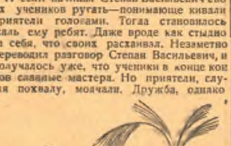
Как ни охала Агафья Петровна, а корову пришлось продать. С коровой и Москву ехать никак нельзя. И домишко было жаль. Но Степан Васильевич рассказал такие чудеса, что поглядеть на новую московскую квартиру даже Агафье Петровне захотелось. Ниника же была в восторге. Засобиралась сразу. Матери никакого покоя не давала. Смеялась над ней до упаду. Агафья Петровна вздумала деревянную лопату в бабаю вынуть. Лопату пришлось оставить. И только в Москве Агафья Петровна поняла, что действительно лопата не нужна. Русской печи в квартире не было и неизвестно как хлеб можно было печь. Квартира была ничего, добрая квартира. Три комнаты и ванна, а ванн не было. Стояла ванна то плитка чудесная и топилась не дровами, а тоже неизвестно чем. Отворяешь краник, поднесешь огонь, стрельнет что из-под спички, и горит.

Это пугало вначале Агафью Петровну, да и квартира вроде как чужая была. По том, когда занавески поприбили, диван кожаный огромный привезли—вроде как и жить стало можно. Ниника—та сразу же освоилась и каждый день в ванне заряжила купаться.

Потом обжились и все своим чередом пошло. Агафья Петровна по домашности хлопотала. Ниника на заводе культармейкой числилась. А Степан Васильевич ребят точности обучал и по отцовской манере кое кого, любя, не злобствуя, двенадцатой хонерой обозвал. Ребята на старика не обижались. Зато Степан Васильевич втайне был не доволен. Казалось ему, что у ребят к точности никакого уважения нет, а к работе—радения.

Так и жили. У каждого свои радости были и свои недобои. Агафья Петровна с первого же раза не взлюбила рабочее кафэ. Пришла, посидела однажды и, уходя, зареклась больше не ходить. Степан Васильевич, однако, по секрету в рабочее кафэ ходил. Старики поглядывать под стать ему. Бывалые в мастера отменные. Хоть и плохо „балакали" по русски, но о шведской жизни и тамошних делах слушал Степан Васильевич с превеликим удовольствием.

И если начинал Степан Васильевич своих учеников ругать—понимающе кивали приятели головами. Тогда становилось жаль ему ребят. Даже вроде как стыдно за себя, что своих расславил. Незаметно переводил разговор Степан Васильевич, и получалось уже, что ученики в конце концов славные мастера. Но приятели, слушая похвалу, молчали. Дружба, однако



от этого не порушилась. На ребят после этих разговоров Степан Васильевич насе для пуще прежнего. А они, как на зло, плохие успели оказывали. Вместо того, чтобы лишний часок—другой за станками постоять—на танцульки бегали, не то к Нинике, в драмкружок. Сколько не доказывал старик ребятам, что точность дело серьезное и что декрет можно было бы и похерить—ничего не получалось.

— Кто такие вы будете?—спрашивал Степан Васильевич строго.

— Кто будете? Актеры или точные мастера?.. Точность—женщина нервная... Это помнить нужно... Сегодня потешал, завтра на сцене фортель выкинул, а в работе поряд-а нет и глаз мутный,.. в руке же опять твердости нехватает. Не дело это для точных мастеров... Без нутреного хребта растете...

Ребята над нутряным хребтом смеялись и в Никиномкружке ночи просиживали.

Степан Васильевич к партийному секретарю ходил и предлагал кружок прикрыть. Но секретарь не согласился.

Тогда Степан Васильевич решил обернуть дело по домашнему. Призвал Нинку и строго на строго велел ей кружок свой прикрыть, чтоб ребятам не мешать. Ниника сначала рассмеялась. Говорила всякое. Степан Васильевич выслушал ее спокойно, а после—обстоятельно все вновь об'яснил. Ниника подумала и на предложение отцовское согласилась.

— Только, Ниника, помни. Вроде договора. И слово чтоб не нарушимо.

На том и разошлись.

Степану Васильевичу это было совсем наруку.

На него Ниникин кружок рассыпался. Ребята в отпуска уехали, а горы путешествовать ушли. А кто и в лагеря попал. Степану Васильевичу без ребят скучновато стало. Но виду не показывал. Если Ниника от кого-нибудь из путешествующих весточку получала, Степан Васильевич будто невзначай, будто без всякого интереса, справлялся о здоровьи. С Тарининым, например, казус в пути случился. Чемодан под Полтавой сперли. Сидел без денег. Степан Васильевич расперепорился, чтоб Ниника денег перию выслала.

Тарарин был не особенно радетельным в работе. Зато парень бравый и про не как Ниника на него заглядывалась. Если незнакомый вспоминал Степан Васильевич про Тарарина, Ниника вроде как чуть-чуть краснела и отвертывалась. Глаз у отца не только на шаблонах был наметан. Всяческую человеческую оплошность глаз Степана Васильевича мог определить.

Как на грех отец одно плохое про Тарарина пел. Ниника, губы чуть надув, слушала все эти басни.

Когда по осени ребята вернулись, Степан Васильевич об'явил, что по вроде экзамена. Велел изготовить полнусы. Тарарин работу не выполнил. Давал его полнус с точностью до десятых миллиметра. И никакие микроскопы не помогали. В микроскопе даже большой конфуз получился.

Ребята после этой пробы пошли на работу. Потом опять поостыли и о драмкружке поговаривать начали.

Степан Васильевич этого ждал и об'явил, что Ниника руководить кружком будет у себя дома, по причине своей музы кальной загруженности. Ниника с осени в консерваторию поступила. Ребята удивились, но порешили, что дома у Ниники даже удобнее. На счет удобств Степан Васильевич не возражал, но ребятам заметил, что гостям всегда рад. А если гости—так чтоб по всем правилам. Являться при галстуках и в чистом виде. Кроме того каждый гость должен бить ходенью приятным... На этом особенный упор старик сделал.

Ребята этого намека не поняли.

Потом, когда зачастили, Степан Васильевич всех принимал радушно, чаем со вобленым сушеным сопи, то за столом строго соблюдая „чины". Сначала неловкем было. Потом пригляделись и сообразили, что Тарарин почему то всегда в конце стола сидит. И от Ниники далеко, и внимание к нему меньше. Тарарин это раньше всех понял. Затосковал парень. К тому же как-то в кафэ Степан Васильевич болтнул вроде невзначай, что-де Нинку такому мужу передаст, который в мастерстве превзойдет его старика. Слух этот ребята просмешили и над Тарариным посмеивались.

— Не видеть тебе, Тарарин, Ниники! Как пить—не видать! Старик то на руку крепок. Запрет дочь в терем. Или еще хуже—в монастырь сошлет. И не увидешь. Мы помогать не будем. Со стариком нам нет расчета ссориться...

Тарарин молчал, но видимо и ему со стариком ссориться тоже не хотелось. Полезный старик—пригодится еще... На чаепития к Степану Васильевичу ходил, а сидеть приходилось в отдалении. И Ниника вроде, как не замечала его. По ее винчей слабости много раз хотелось Нин же ласковое слово Тарарину бросить. Но вспомнила разговор с отцом и молчала. А парень совсем зачах. И если бы не предсвенный толстомер—может быть непортилась бы у парня жизнь.

Случилось так, что он всю жизнь Тарарина перевернул и через него много радостей получилось. Принесли в цех заказ и чертеж. Степан Васильевич просмотрел, подумал, подсчитал и отказался делать. Вперые отказался старик. За всю жизнь не было такого случая. А тут серфиа. Позходит к нему Тарарин. Чертежи лежат ленивно в руках повертел и говорит Степану Васильевичу:

— Давайте попробуем.

Степан Васильевич до того удивился дерзости этой, что очки даже сняв. На спинку кресла откинулся. На Тарарина снизу вверх посмотрел изумленно. И строго, обиженно, но сердито заметил:

— Больно ты, Тарарин, прыток... Раньше батьки в петлю лезешь... Ты бы брод у меня, старика, спросил, а потом бы и совался... Двенадцатая ты хонера...

А Тарарин не смутился и просто, не обижаясь, говорит:

— Если насчет подходящего материала сомневаетесь, Степан Васильевич, то что нибудь придумаем... Без приидетной платины обойдемся... а сделать эту модель я берусь...

Степан Васильевич чертежи в трубку свернул, подал их Тарарину и, ни слова не сказав, вышел.

Тарарин с того дня в гости к Степану Васильевичу ходить перестал. Модель же, из за которой все началось, по вечерам делал и даже ночью. Через месяц модель была готова. Послали ее в тщательной упаковке в Ленинград, чтобы в Палате проверили. Выверяли ее долго, а вернули с краткой и сокрушительной характеристикой. Не выдержала испытаний. Сильно зашиеся от совсем ничтожных колебаний температуры. В отдельном же письме к Тарарину все об'яснили подробно. Письма того он никому не показал, а из измерительно-шаблонного цеха ушел. Ребята так и порешили что от насмешек скрылся. Пропадал где-то целых полгода. Потом как ни в чем не бывало явился. Ребята первым делом повесили карикатуру на прогульщика и лентуна. Тарарин же вроде как бы и не заметил. Пришел и принялся опять за модель. Будто после выходного дня явился. Только сумрачный какой-то, небритый и неряшливый. Ребята по поводу штанов даже шутили.

— Слышали мы, Тарарин, такую поговорку, что будто путешествии развивают юношей, но протирают штаны. Верно это или нет? И по цеху хохот катился. Громкий и злобный смех. Тарарин молчал и совсем перестал с ребятами разговаривать. Зато со Степаном Васильевичем дружить начал. И старик разговаривал с ним совсем по-особенному, как-то тревожно и заботливо. Даже инструменты иногда ему правил. Месяца не прошло как явился Тарарин однажды утром гладенький и причесанный, боксом стриженный и даже шелковый чортик из кармана торчит. С удивлением окружили его.

— Уж не Нинку ли сосватал?

Тарарин улыбался также, как несколько месяцев тому назад.

— А может все статьи... Только празд ник ребята у меня. Вроде именин. Не мешало бы даже обмыть вот это. И вытащил конверт.

Главная Палата мер и весов сообщала Тарарину, что прибор его испытания выдержал блестяще...

— Не в приборе дело братцы... Изобрел я стальной сплав вроде иридистой платины. Говорит даже и перекрыл... Потому решил я в сегодняшний день прогул совершить... А чтобы с табельщиком скватиться, написал в заводоуправление, чтобы патент № 30103 переписали на имя завода...

* * *

Вечером Тарарин был в гостях у Степана Васильевича. Никого не было кроме него. И хорошо, что не было. Уж больно смешен был старик в своем сюртуке, в целлулоидовых старых манжетах. Старомодный воротник глубоко вклинивался в шею. И все в Степане Васильевиче дышало крайней торжественностью. По поводу торжества разрешил Степан Васильевич выпить по паре лафитничков. С непривычки у него и голос стал особенный. Таким голосом никак нельзя было выговорить эту самую... двенадцатую хонеру... Язык не поворачивался.

— Перепрятнул ты старика, Борис Петрович—перепрятнул... Признаюсь...

— Признаюсь также, что с Никкой мы малость свитрили... Договор у нас был— не давать тебе поблажки... И расчеты наши правильными оказались... Все с точностью в полном и совершенном согласии... Но не сердчай и выпьем по этому случаю... А если ты насчет Ниники... то разговаривай с ней самой... Я в этом деле лишний...

Томск 1934.

ПЕСНЬ О СТАЛЬНОМ БУРЕВЕСТНИКЕ

День придет
И это станет былью,
Чтоб совершить намеченный полет,
Разверзнет навстречу солнцу крылья
Небывалой мощи самолет.
Гул хоторов по стране советов
Окрылит надолго торжество
Слесарей, шахтеров и поотов,
Тех, кто выстроил его.

И тогда прислушаются к песне
Над морями в дыме облаков:
Это реет гордый буревестник—
«Алексей Максимович Пешков».

Вл. Чугунов.

Видели вы, как дымит завод
Дыханием сотен топок?
. . . . . .
Видели вы, как бегут поезда?
. . . . . .
Затишье, засада. И вот запевают
В газовом море домны.
Это запевки подмостровщиков
Новые декапоты колонны.
. . . . . .
Знает рабочий, что нужны стране
Стальные напевы и звоны.
(В. Шишкин—стих. „Завод").

Видели вы, как пишет поэт,
Горбясь над столом до утра?
Когда стекает лирический бред
Словно с его пера?

Он утром десяток крылатых муз
Запряг в поэтическую колымагу,
Затем приготовил перья «Союз»,
Чернила, резинку, бумагу.

А вечером, воздух когда посвежел,
Он сел за работу, горя вдохновеньем—
Румян, как губная помада «Тэйс»,
И свежь, как само творенье.

Но самое главное впереди...
О чем же писать?
И вот...
Огромная тема вздрела в груди:
—Завод.

Но как же начать?
И мысли сквозят...
О, это, ведь, очень просто:
—Пиши как Бесвин лет двадцать назад.

И Пушкин—лет девяносто.

Прием позабыт уж, к тому же
прост
(В плакате тебя обвиняет газета)...
Вначале читателю дай вопрос
Словами: «видели?», или «слыхали?».

Затем постепенно сюжет развернем,
Но не о жеребенках и не о заяицах,
А о том, как к транспортерам льются
ремни,
О том, как завод дымится.

И вот исправленный готов рецепт.
Мелькает перо, вырастают строчки,
Ложатся страницы...
И вот дуплет
Готов,—и обрадованный поэт
Спешит „пробовать" точку.

А дальше...
О чем же писать?..
О чем?
В теле гнездится усталости кобра,
А в голове—расшибы кирпичом—
Хоть бы один захудалый образ.

Капуа в вечность лирики бред.
Не прикленть ни ночь, ни луну,
ни погоду...
Да, тяжело в наше время поэт,
Писать о заводе, не зная завода.

Но у поэта много путей...
Коль о заводе исчезли все краски,
Он пустит по рельсам железных
коней—
Это все тени в духе эпохи.

И снова к бумаге лишнее перо,
За строчкой ложится строчка.
В окошком проеме уже серо,
Но вот, наконец, точка.

А дальше все так же.
Вначале завод,
Мартены, гигантские печи,
И снова на смену им декапот,
Шагающий по.. человеке.

И в заключенье, чтоб вышло
сильней,
Закончил он строчек колонны:
—Знает рабочий, что нужны стране
Стальные напевы и звоны.

Уж алым плакатом окрасы
рассвет
Голубую лохань небосвода.
Поэт потянулся, выключил свет,
Проверил строчки «Завода».

Затем поправил, отшлифовал,
Проставил подпись и дату.
Редактору парочку строк приписал
И в этот же день стих отослал —
Через «Сибогин»— пролетарату.

Д. Лившиц.

Клишированные заголовки и рисунки исполнены художником В. Ильиным.

Ал. Мизерев — Томский остров

(Из цикла „СИБИРЬ")

Свел мне ветер—
каторжанин старый—
Песню скорби,
песню матерран.
Тучи в небе—
арестантов нары
Узкий месяц—
лезвие ножа

* * *

Было время
томского острога,
Горькой ржавью
брызгали впоим,
И металась
черная тревога,
Рассыпала
выстрелы в ночи.
Коль пришлось бы
раньше жить на свете,
Не солгу,
уж видно и такой—
Бился б тоже
о решетки эти
Арестантской
бритой головой.

Переслушованный фасад

Время стерло
сумрачные даты.
Звонких песен
не сдержать поток...
Здесь когда-то
пепелен проклятый
Томский
государственный острог.
А в холодных
камерах острога,
В одиночках,
в карцерах гаухих,
Гибли люди—
и звучали строго
Окрики
суровых часовых.
Политических—
в подвалах хоронили.
А когда
свирепствовала Колчак—
На допросах
смертным боем били,
Ночью
выводили на Каштак.
В эти дни
здесь с винт лили мыши
Кровь
неискрошающихся ран.
В эти дни
сидел Шахтеров Гриша,
Молодой рабочий—
партизан.
В эти дни
Угрюмов и Солдатов
Ждали смерть
спокойно и легко,
Зная,
что по пролетариату
Не ударит
залпом бронебойков,
Тех,
что им давались для ремонта,
Тех,
что исправлялись целый год,
Тех,
что вовсе не дошли до фронта,
Встав
у самых заводских ворот.
В эти дни
под сводами глухими
Сотни пулем
поставляли грудь,
Чтоб бойцам,
идущим вслед за ними,
Трупами своими
выстлать путь.
Но пробиты
стены узких камер,
Своды—
отступили в высоту.
Ржавый всхлип
дверей железных замер,
Не пугая
скрипом пустоту.
Окна стали шире,
и решетки
В ящике с утилем
исчезают,
И бежет
монолитом четким
Института
горного фасад.
А в аудиториях
просторных,
В кабинетах светлых
пятый год
Сотни юных,
смелых и упорных
Вузовцев—
дерутся за зачет.
И Шахтеров Гриша
с ними вместе
Пятый год
окончил в учебный круг,
Ибо дело
доблести и чести—
Овладеть
высотами наук.
Время стерло
сумрачные даты.
Звонких песен
не сдержать поток...
Здесь когда-то
пепелен проклятый
Томский
государственный острог.

Д. Лившиц.

3/II-34
Томск